

Кто ты без имени?

Максим Козлов

18+

Максим Козлов
Кто ты без имени?

«Автор»

2026

Козлов М.

Кто ты без имени? / М. Козлов — «Автор», 2026

Он очнулся в больнице без памяти. Ни имени, ни прошлого. На тумбочке — флешка: «Твоя жизнь. Хочешь посмотреть?» Он посмотрел. И узнал, что был серийным убийцей. Двенадцать женщин. Он не помнит ни одной. Не чувствует вины. Он пытается найти родственников жертв, чтобы попросить прощения. Одна из матерей говорит: «Ты — не тот человек. Тот умер». Тогда он идет к лифту, который ведет на свободу. Лифт спускается в подвал. Там — тринадцатая жертва, которую он не убил, а запер двадцать лет назад. Она принимает его за ангела и молит о смерти. Он убивает снова. Суд. Приговор. Пожизненное. Кого судят — тело или личность? Можно ли стереть зло, стерев память? Философский триллер без ответов, где читатель — сам себе судья.

© Козлов М., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Белый шум	5
Город без теней	12
Клетка	20
Сосед	27
Конец ознакомительного фрагмента.	28

Максим Козлов

Кто ты без имени?

Белый шум

Сначала был свет.

Не тот, что пробивается сквозь веки утром. Он был повсюду. Он давил на глазные яблоки даже когда он их закрыл. Белый, холодный, гудящий. Потолок был белый.

Стены тоже.

Потом пришёл звук. Ровный, низкий гул. Где-то за стеной урчала техника. Внутри черепа тоже гудело — пустота звенела.

Он открыл глаза во второй раз. Кажется во второй. Веки были как наждачная бумага. В горле пересохло так, будто он глотал песок. Где-то капала вода. Или это в голове.

Он не знал кто он.

Совсем. Это была не та забывчивость, когда вертится на языке имя актера из старого фильма. Это была пропасть. Полная, черная. Он потянулся за любым образом — мать, дом, собака, первая сигарета, — и наткнулся на ничто. Гладкая стена без единой зацепки.

Он попробовал сесть. Тело слушалось странно. Как старая машина, которую завели после долгой зимы. Руки были чужие. Длинные пальцы. Под ногтями темнела какая-то грязь — или кровь, засохшая давно. Он смотрел на свои руки минуту, две. Они ничего не говорили.

Палата была одноместная. Серая дверь. Никаких цветов, никаких открыток. Койка продавлена чужими телами. Пахло хлоркой и чем-то кислым — лекарствами, старостью, потом. И ещё чем-то другим. Страхом. Его собственным страхом, липким, выступившим на коже холодной испариной. Он не знал, чего боится. Поэтому боялся всего.

На тумбочке лежала флешка.

Она была одна. Ни стакана воды, ни кнопки вызова медсестры. Только черный пластиковый прямоугольник с серебристым разъемом.

Под ней — записка. Бумага помятая, но буквы печатные, ровные, как на афише:

«Твоя прошлая жизнь. Хочешь посмотреть? Если да — вставь флешку. Если нет — иди вон в ту дверь».

Рядом с запиской лежал ключ. Тяжелый, с биркой «Лифт А». Лифт в конце коридора. Дверь в палату была приоткрыта, и он видел щель света, падающего на линолеум.

Он сел на кровати. Ноги коснулись пола. Холодный. Очень холодный. Он пошевелил пальцами. Работают. Пятки потрескавшиеся. Он был босой. Кто он? Мужчина. Это он понял. Тело говорило само за себя. Возраст? Он поднес руки ближе к лицу. Кожа обветренная, но не стариковская. Сорок. Или сорок пять. Где-то там. На левом предплечье татуировка — но не рисунок, а цифры. Синие, расплывшиеся. Тюремные? Армейские? Он провел пальцем. Цифры молчали. Они были просто шрамами от иглы.

Он встал. Голова закружилась, пришлось схватиться за спинку кровати. Гул в ушах сменился звоном. В висках застучало. Тело помнило, как ходить, хотя мозг забыл, куда и зачем он шел последние сорок лет. Ноги двигались автоматически. Мышцы хранили память, которую стерли у него из головы. Это открытие поразило его. Тело — это предатель или единственный друг? Оно умело стоять на холодном полу, но не знало, кого оно носит.

Он подошел к тумбочке. Взял флешку. Пластик был теплый, как будто её только что держали в руке. Он прислушался к ощущениям в пальцах. Никакой вспышки. Никакого озарения. Кусок металла и пластика. Он взвесил её на ладони. Легкая. Внутри, говорят, хранятся гигабайты информации. Чужой голос, чужие фото. Его лицо. Которого он не узнает.

Страх никуда не делся. Он перетек из живота в грудь, сдавил ребра. Если ты не помнишь, кого ты убил, ты невиновен? Если ты не помнишь, кого любил, ты свободен? Память — это тюрьма. Сейчас у него не было тюрьмы. Была только пустая комната и ключ.

Он мог бы просто уйти. Взять ключ, дойти до лифта, спуститься. Там будет улица. Вдохнуть воздух, которого он не помнит. Дождь или солнце — какая разница. Он станет Нолем. Ноль — это начало, конец, отсутствие значения. Удобное имя. Он не заслужил другого. Имя дает мать. А матери у него не было. В его вселенной не существовало ни одной фотографии. Ни одной колыбельной.

Ноль вышел в коридор.

Там было пусто. Такие же серые стены, лампы дневного света, одна из них мигала, создавая дергающиеся тени. Пахло больницей. Где все? Почему так тихо? Только гул лифта за поворотом. Лифт звал его. Железная коробочка, готовая унести в новую жизнь. Жизнь Ноля.

Он пошел по коридору. Ноги скользили по линолеуму. Он прошел пять дверей. Все закрыты. Из-под одной пробивалась полоска света, но оттуда не доносилось ни звука. Может, там такие же, как он. Люди без прошлого. Или трупы. Он не стал проверять. Каждый шаг к лифту давался легче. Мышцы разогревались. Тело радовалось движению, но мозг кричал: «Стой». Что если там, за дверями больницы, его ждут? Жена, дети. Люди, которые смотрят на него и видят мужа, отца. А он посмотрит на них как на пустые стены. Это будет убийством. Медленным убийством любви, которая еще живет в их сердцах, но умерла в его голове. Он остановился у поворота. Лифт был совсем рядом. Металлические двери, кнопка вызова, горящая тусклым оранжевым светом.

Он развернулся.

Вернулся в палату. Это было мучительно. Тело сопротивлялось. Оно хотело на воздух, хотело убежать от запаха хлорки. Оно знало, что там, в лифте, спасение. Но Ноль вернулся к тумбочке. Он взял флешку. Держал её, чувствуя, как потеют ладони.

Где-то в этой черной коробочке была бомба. Или ничего. Что хуже? Узнать, что ты чудовище, или узнать, что ты был серой мышью, никем, пустым местом? Он посмотрел на записку. Почерк был механический. Но слова — человеческие. Кто-то знал, что он проснется. Кто-то оставил ему выбор. А есть ли выбор, если ты чистый лист? Выбор может сделать только личность. У него личности не было. Было только тупое, животное любопытство. Или это уже и есть личность? Любопытство — первое, что просыпается в мозгу, когда все остальное мертво.

В углу палаты стоял старый монитор. Системный блок под столом. Все подключено к больничному ИБП, лампочка горела зеленым. Аппаратура ждала его. Как будто спектакль подготовили. Декорация к пробуждению монстра.— Ты сам просил, — сказал он вслух.

Голос прозвучал глухо, хрипло. Связки заржавели. Слова упали в пустоту и не отразились эхом. Этот голос он тоже не узнал. Тембр показался низким, опасным. Такой голос мог бы приказывать или читать молитвы, но сейчас он просто спрашивал у тишины разрешения. Ноль вставил флешку в порт.

Система ожила мгновенно. Экран загорелся синим. Никаких заставок, никаких паролей. Сразу файл. Один-единственный видеофайл на весь накопитель. Название: «0-1.mov».

Он нажал Enter.

Зашуршало, зашипело. Сначала ничего не было видно, только серые помехи, как на старом телевизоре. Потом появилось лицо.

Это было его лицо.

Несомненно. Те же глаза, только в них плескалось что-то живое, злое, сосредоточенное. Те же скулы. Та же татуировка с цифрами, но свежая, черная, а не синяя. Человек на экране смотрел прямо в камеру. Он сидел в той же палате? Да. Ноль узнал трещину на стене.

Человек на экране улыбнулся. От этой улыбки кожа на затылке Ноля сжалась. Это была не радостная улыбка. Это был оскал понимания. Так улыбается охотник, загнавший зверя. Или

зверь, поймавший охотника.— Привет, я, — сказал человек с экрана. — Или ты. Не знаю, как ты себя назовешь. У тебя шок. Полная амнезия. Врачи сказали, что это плановая процедура. Ты сам попросил стереть себя. Заплатил огромные деньги. Нелегальная клиника в подвале. Не ищи их, их уже нет. Я закрыл концы. Мы закрыли. Ты понимаешь.

Его голос был таким же низким, но твердым. Нынешний Ноль говорил с вопросительной интонацией. Тот, на экране, не спрашивал. Он утверждал.

Ноль придвинул стул. Сел. Ноги не держали. Экран мерцал, тени бегали по лицу его двойника.

— Я оставил это видео, потому что даже когда я хочу убить себя, как личность, я не хочу оставлять тебя безоружным. Ты должен знать, с чем ты выходишь в мир. Мир будет искать тебя. Или меня. Им плевать на юридические тонкости. Там, за стенами, ты — это я. А я — это смерть. Профессиональная, вдумчивая, ритуальная.

Человек на экране откинулся назад. В кадре показалась его грудь, одетая в больничную робу. Ноль машинально посмотрел на свою грудь. Та же роба. Та же пуговица расстегнута.

— Двенадцать. Двенадцать женщин. Разных. Блондинки, брюнетки. Молодые и не очень. Я не насиловал их. Я их собирал. Как коллекцию. Я помню каждую. Их запах, их предсмертный хрип. Где я их оставил, как укладывал руки. Это было красиво. Ты сейчас смотришь на меня и тебя тошнит. Или нет. Если стирание прошло чисто, ты ничего не чувствуешь. Ты пустой, как барабан. И правильно. Ты слушаешь сейчас голос своего безумия, которое я вырезал из тебя и оставил здесь, на этой флешке.

Ноль не чувствовал тошноты. Он чувствовал пустоту в груди, которая стала вдруг физически ощутимой. Дыра. Там, где у людей растет душа, у него была пробоина, сквозняк. Слова с экрана залетали в одно ухо, но не находили препятствий внутри. Они не ранили, потому что не за что было цепляться. Двенадцать женщин. Это просто слова. Звуковая волна.

Экранный он продолжал:

— Я не прошу прощения. Я не каюсь. Ты не я, ты не можешь каяться за мои грехи, это бессмысленно. Но я решил дать тебе знание. Потому что они придут за тобой. Или не придут. Но если придут, ты должен знать правду. Не прячься. Не беги. Бегство — это признание. А ты невиновен. Ты Ноль. Число, с которого все началось. Я завидую тебе. Ты свободен от моих демонов. Правда, в теле остались кое-какие привычки. Остерегайся зеркал. И ножей.

Он засмеялся. Это был лающий, сухой смех. Потом резко оборвал его. Лицо стало серьезным.

— В заднем кармане твоих штанов — листок. Там адрес, куда меня должны были отвезти после стирания. Ключ от лифта у тебя. Лифт ведет в гараж. Там машина. В бардачке — документы на имя Ноля. Без фамилии. Там же достаточно денег, чтобы начать. Мир полон дерьма, но ты чист. Иди. Живи. Не ищи мое прошлое. Это кладбище, на котором не стоит гулять новорожденному.

Запись прекратилась внезапно. Экран погас.

Ноль сидел в темноте, пронизанный только светом из коридора. Тишина снова сомкнулась над ним, как вода. Он слышал свое дыхание. Оно было ровным. Сердце билось ровно. Убийца на экране сказал ему страшную вещь, но тело не отреагировало. Никакого выброса адреналина. Абсолютный штиль. Это пугало больше, чем само признание.

Он убил двенадцать женщин. Собирал их, как бабочек. Укладывал руки. Это было красиво, сказал тот человек.

Ноль встал. Подошел к окну. Окна не было. Стена, покрашенная белой краской. Он прижался лбом к прохладной штукатурке. Закрыл глаза. Темнота внутри и темнота снаружи слились. Он попытался вызвать хоть какой-то образ женщины. Матери. Сестры. Любовницы. Пустота. Ни одной картинке. Мозг отказывался рисовать лица, которые он якобы стер в памяти. Там было выжженное поле.

Но руки помнили. Он отстранился от стены и посмотрел на ладони. Пальцы были спокойны. Они не дрожали. Интересно, дрожали ли они, когда сжимали горло? Или он использовал нож? «Остерегайся зеркал. И ножей», — сказала записанное чудовище. Ноль подумал: нож — это продолжение руки. Если руки помнят, они захотят нож.

Он проверил задний карман больничных штанов. Бумажка. Адрес написан от руки — тем же корявым, но четким почерком. «Улица Маяковского, дом 14, квартира 6. Спросить Елену». Кто такая Елена? Сообщница? Жертва, которая выжила? Влюбленная дура? Ничего не отзывалось. Имя было мертвым звуком.

Лифт шумел за стеной. Он мог выйти сейчас, поехать на улицу Маяковского, прожить чужую жизнь. Деньги, машина. Стать призраком без прошлого. Убийца дал ему индульгенцию: «Ты не я». Церковь учит: грех лежит на душе. Если душа стерта вместе с памятью, грех исчезает. Остается только оболочка, биологический робот по имени Ноль.

Но тогда почему этот ублюдок оставил запись? Если он хотел освободить новую сущность, зачем он вложил в руки Ноля бомбу знания? Потому что он, старый, хотел жить. Хотел оставить след. Даже стирая себя, он не мог отказаться от гордыни. Он хотел, чтобы его помнили хотя бы так — в виде кошмара, который смотрит на себя в зеркало и не узнает.

Ноль вытащил флешку. Пластик обжигал пальцы, хотя был холодным. Он швырнул ее в стену. Она ударилась, отскочила, закатилась под кровать. Мелочь. Он наклонился, взял ее снова. Размахнулся, чтобы сломать, но остановился. Не смог. Это была единственная ниточка, связывающая его с реальностью. Даже самая страшная правда лучше полного небытия. Человек без биографии — не человек. Так, образ.

Тело хотело в лифт.

Душа — если она была — хотела остаться в палате и умереть с голоду.

Ноль выбрал третье.

Он сел на пол, прямо на холодный линолеум, скрестил ноги, как ребенок, и положил флешку перед собой. Он смотрел на нее. Двенадцать душ, запертых в пластике. Или тринадцать, считая его самого.

Он должен был что-то почувствовать. Вину. Отвращение. Страх. Он старался вызвать эти чувства. Напрягал мозг, искал там хоть какой-то отголосок морали. Мораль — это память? Или инстинкт стаи? Если ты вырос среди волков, ты ешь сырое мясо, не думая о жестокости. Если ты вырос среди людей, ты плачешь, раздавив улитку. Что в нем сейчас?

Ничего.

Только холод внизу живота и странное, нарастающее любопытство. Ему стало стыдно за свое любопытство. Это было первой человеческой эмоцией за время его новой жизни. Стыд. Значит, где-то глубоко, на клеточном уровне, мораль все-таки жила без памяти. Или это культурный код, вшитый в мозг так же прочно, как умение дышать? «Не убий» — это строчка в геноме или на странице книги?

Он закрыл лицо руками. Так он просидел час, или два, или десять минут. Времени не существовало. Больница молчала. Никто не заходил. Никто не искал его. Как будто мир замер, ожидая его решения.

Затем он встал. Ноги затекли. Он взял флешку, зажал в кулаке. Прошел к двери, где за поворотом гудел лифт. Лифт был здесь, близко. Дверь открыта. Внутри горел тусклый желтый свет. Кабина обшарпанная. На стене нацарапано «Здесь был Вася». И ниже, тем же почерком: «Вася мертв». Ноль шагнул в лифт. Двери закрылись не сразу. Они дрогнули, заскрежетали и поползли друг к другу с мерзким лязгом. Осталась щель в ладонь. В эту щель Ноль видел коридор, уходящий в пустоту, и мигающую лампу. Запахло машинным маслом и пылью.

Кнопка «В» — подвал. Кнопка «1» — выход. Он нажал «В».

Лифт дернулся и пополз вниз. Медленно, рывками. Секунды растягивались. Ноль смотрел на свое отражение в тусклой металлической панели. Лицо, скулы, татуировка. Зеркало не врало. Зеркало показывало убийцу. Тело было то же. Тело помнило вес ножа.

Лифт остановился. Двери открылись.

Это не был гараж. Это был технический подвал, залитый бетоном и тусклым красным светом. Трубы под потолком обмотаны старой изоляцией. Пахло сыростью, плесенью и чем-то еще. Сладковатым, тошнотворным.

Ноль пошел вперед. Бетонный пол сменялся земляным. Коридор сужался. Он задел плечом трубу, и та отозвалась низким гудением. Где-то капала вода, размеренно, как метроном.

В конце коридора была дверь. Старая, деревянная, с облупившейся краской. И замок. Висячий, ржавый, но открытый. Замок висел на одной дужке, приглашая войти.

Ноль знал, что нельзя открывать эту дверь. Тело помнило. Сердце, которое не билось чаще при просмотре видео, сейчас забилося где-то в горле. Ладони вспотели. Это был страх узнавания. Не головой — телом. Мышцы помнили этот коридор, этот запах, этот красный свет.

Он толкнул дверь.

Она открылась без скрипа. Петли были смазаны. Внутри — крошечная бетонная каморка без окон. Посередине, на куче грязных тряпок, сидело существо.

Женщина.

Кожа да кости. Волосы седые, спутанные в колтун. Лицо изрезано морщинами, хотя по возрасту она годилась бы ему в дочери. Или в ровесницы — было не разобрать. Глаза запали так глубоко, что казались черными дырами в черепе. На ней было нечто истлевшее, бывшее когда-то платьем.

Двадцать лет в темноте. Двадцать лет без солнца. Она не видела ничего, кроме этой двери, которая изредка открывалась, чтобы вбросить ей буханку хлеба и бутылку воды. И снова тьма.

Она не закричала. Она подняла голову. На иссохшем лице не отразилось ни ужаса, ни ненависти. Она улыбнулась беззубым ртом. Улыбка была жуткой — она светилась изнутри, как гнилушка.

— Ты пришел, — прошепстала она. Голос был как шорох листьев. — Ты пришел за мной, Ангел. Ты обещал. Я знала, что ты бросил ту маску. Что ты вернешься.

Ноль стоял на пороге. Воздух застрял в легких. Тринадцатая. Тот, на видео, сказал — двенадцать. Он солгал. Или не знал, что скажет камера? Или он оставил её здесь, когда был собой, и забыл стереть из видеофайла эту деталь.

Женщина протянула к нему руки. Они были похожи на птичьи лапы, обтянутые прозрачной кожей. Ногти сломаны в мясо — она царапала стены.

— Я ждала. Ты сказал: «Когда я приду в белом, я заберу тебя на небо». На тебе белое. Ты пришел.

Ноль опустил взгляд. Больничная роба была белой. Он открыл рот, чтобы сказать: «Я не тот, кого ты ждешь». Но кто он? Тот, кого она ждала, стоит перед ней в том же теле. Запах страха женщины смешивался с запахом плесени. Её трясло от счастья.

— Пожалуйста, — прошептала она, — забери меня. Я так устала. Там темно, когда ты уходишь. И крысы. Я разговариваю с ними. Я больше не хочу с ними говорить. Забери меня, Ангел. Убей меня.

Ноль сделал шаг вперед. Потом еще один. Он не думал. Тело двигалось само, словно по старой, протоптанной колее. В углу, на сыром бетоне, лежал нож. Старый армейский нож с темной рукояткой. Он лежал так, будто его положили только вчера. Но Ноль знал — он лежал там двадцать лет. Ждал.

Ноль нагнулся. Пальцы обхватили рукоять. Дерево было теплым на ощупь или просто его ладонь горела.

Женщина смотрела на нож без страха, с вождением. Слезы потекли по её грязным щекам, оставляя светлые дорожки.

— Да. Да. Спасибо. Я знала, что ты добрый. Ты всегда был добрым. Даже когда делал больно, ты шептал: «Потерпи, скоро все кончится». Сейчас кончится? Да?

Ноль ничего не ответил. Он присел перед ней на корточки. Их лица были на одном уровне. Он видел, как бьется жилка на её виске. Видел безумие, которое смотрело на него с обожанием. Она видела перед собой не убийцу, а спасителя. Кто он? Палач или мессия? Или и то и другое? Имеет ли значение ярлык, если результат один?

Он левой рукой приобнял её за плечи. Она была невесомая. Кости хрустнули от движения, как сухие ветки. Она прижалась к нему, всхлипывая, бормоча благодарности. Она благодарила его за то, что он запер её здесь, а теперь пришел закончить начатое.

Нож вошел точно под левую лопатку. Тело знало, куда бить. Одно точное, экономное движение. Никакой ярости. Работа.

Она выдохнула. Маленькое облачко пара вырвалось из её рта и растаяло. Тело обмякло, став еще легче. Ноль держал её минуту, две, пять. Он опустил её на тряпки, бережно, как укладывают спать ребенка. Поправил складки её платья. Закрыл ей глаза.

Тишина в подвале стала абсолютной. Даже вода перестала капать.

Ноль выпрямился. Нож выпал из пальцев, звякнув о бетон. На белой робе расплылось алое пятно. Она прижималась к нему, когда сердце сделало последний толчок.

Он посмотрел на свои руки. Они не дрожали.

Вот она, разница между знанием и памятью. Знание — это файл на флешке, от которого не больно. Память — это вот эти пальцы, которые не забыли, как убивать. Личности нет. Ноль. Ноль всего. Но моторная кора, мозжечок, спинной мозг — они помнят каждую жертву. Тело не просило стирания. Тело было честным всегда.

Он убил снова. Это не было самообороной. Это было милосердием. Или жаждой убийства, замаскированной под милосердие. Кто разберет? Он не знал мотивов. Мотивы умерли вместе со старой личностью. Остался поступок.

Ноль вышел из каморки. Плотно прикрыл дверь. Повесил замок на место, защелкнул. Теперь тишина там будет вечной.

Он пошел к лифту. Ноги были ватными, но шаг твердым. Лифт ждал его с открытыми дверями. Он вошел, нажал «1». Кабина дернулась и поползла вверх.

Он ехал к свободе, но знал, что её не будет. Свобода — для тех, у кого нет прошлого. У него только что появилось прошлое длиной в пятнадцать минут. Оно было кровавым.

Лифт остановился. Двери открылись в грязный подземный паркинг. На бетонном полу стояла одинокая машина. Старый седан. На лобовом стекле лежал конверт с надписью «Ноллю».

Ноль подошел. Взял конверт. Открыл.

Внутри были ключи от машины, деньги, паспорт. И короткая записка тем же почерком: «Прости».

Он не знал, кто просит прощения — старый он, оставивший эту машину, или новый, рождающийся прямо сейчас. Записка была пахнущей бензином и пылью, но это было единственное человеческое тепло, к которому он мог прикоснуться.

Ноль сел за руль. Руки легли на оплетку. Двигатель завелся с полоборота. Фары высветили пандус, уходящий вверх, к свету. Там, наверху, был мир. Люди. Полиция. Родственники двенадцати или тринадцати. Суд. Или новая жизнь.

Он нажал на газ. Машина плавно выехала из паркинга. Утреннее солнце ударило по глазам. Он зажмурился. Слезы потекли не от эмоций, просто рефлекс. Солнце было ярким, небо синим. Город жил своей жизнью. Трамвай, прохожие, запах кофе из ларька.

Ноль вытер глаза рукавом рубы. На рукаве осталось бурое пятно. Он посмотрел на него и ничего не почувствовал.

Он был свободен. И он был проклят. Потому что теперь он знал: стирание памяти не стирает ничего. Оно просто загоняет демонов глубже, в кости, в мышцы, в тьму подвала, откуда они обязательно вернуться.

Машина влилась в поток. Ноль ехал, не зная куда. Зеркало заднего вида отражало лицо. Он старался туда не смотреть.

Там, в зеркале, жил кто-то, кого он не знал, но чьи дела ему теперь расхлебывать до конца жизни.

Город без теней

Солнце резало глаза.

Он опустил козырек, но тот был сломан и висел на одном шарнире, качаясь при каждом толчке. Дорога была дрянь. Асфальт в ямах, в трещинах, сквозь которые пробивалась сухая трава. Он ехал уже час, может два. Часов не было. В машине пахло старой кожей, сигаретами и еще чем-то сладковатым, что он не мог распознать. Освежитель воздуха, или духи, или кровь — он не знал. Обоняние работало странно. Запахи вызывали отклик в теле, но не в голове. Сердце начинало биться чаще на какой-то аромат, а мозг не понимал почему.

Город появился внезапно, как вырастает из тумана гора. Сначала трубы завода, окрашенные в ржавый и белый, потом серые коробки окраин, потом улицы. Он сбавил скорость. Руки сами переключили передачу, хотя он не помнил, как водить. Тело знало. Сцепление, газ, поворотник — все работало без участия сознания. Он был пассажиром в собственных руках.

На заднем сиденье лежал старый пуховик. Он остановился у обочины, перегнулся назад, взял его. Пятно крови на больничной робе проступало все отчетливее, пока оно подсыхало, оно темнело, становилось бурым, с фиолетовым отливом по краям. Он надел пуховик прямо на робу. Замок заело, он дернул, сломал собачку. Черт с ней. И так сойдет. В зеркало заднего вида посмотрел на себя. Бомж бомжом. Недельная щетина, всклокоченные волосы, запавшие глаза. Никто не остановит такого на улице. Он был невидимкой. Это хорошо.

Он поехал дальше. В бардачке нашел телефон. Старый, кнопочный, заряженный. Ни одной записи в книге контактов. Ни одного вызова. Чистый, как и он сам. Только время на экране: 09:47. И дата. Он не знал, какое сегодня число, но дата в телефоне ничего ему не сказала. Набор цифр. Год, месяц, день. Пустые символы.

Он засунул телефон в карман пуховика. Там же лежали деньги. Много. Пачка, перетянутая резинкой. Он не стал пересчитывать. Деньги имели значение только если он решит жить. Если решит не жить, они просто бумага. Он еще не принял решение. Он просто ехал. Город назывался, кажется, Верхнегорск. Или Нижнекамск. Или никак не назывался. Указатель он проспал, а спросить было не у кого. Улицы были полупустые. Редкие прохожие кутались в серые пальто, хотя было не холодно. Может, это просто мода такая — прятаться. Он их понимал.

Он проехал мимо больницы. Обычная городская больница, не та, где он проснулся. У входа стояла машина скорой помощи с распахнутыми дверями. Санитары грузили носилки. Человек на носилках был накрыт с головой. Ноль сбавил скорость. Посмотрел. Просто посмотрел. Никаких эмоций. Смерть перестала что-то значить для него еще до того, как он родился заново. Или после. Он запутался в таймлайне своей никчемной жизни.

Он поехал дальше. На перекрестке остановился на красный. Рядом притормозил автобус, битком набитый людьми. Женщина у окна поправляла прическу. Мужчина читал газету, сложенную вчетверо. Девочка ела мороженое, оно текло ей на пальцы. Обычная жизнь. Чужая, непонятная, как ритуал инопланетян. Ноль смотрел на них и пытался вспомнить, ел ли он когда-нибудь мороженое. Было ли ему пять лет, держал ли он вафельный стаканчик, так же текло ли на пальцы? Пустота. Ни одной картинки. Только белый шум.

Зеленый. Он тронулся, заглох. Сзади засигналили. Он повернул ключ, завелся снова, поехал. Руки тряслись. Почему? Он не нервничал. Это тело нервничало. Старые нейронные связи работали вхолостую. Машина дернулась и поехала ровнее.

Он искал адрес, который был в записке. Улица Маяковского, дом 14. Город был незнакомый, но пальцы знали, куда крутить руль. Он перестал сопротивляться. Пусть тело ведет. Оно не забыло, где находится этот чертов дом. В этом было что-то унижительное — быть заложником мышечной памяти убийцы. Ехать по его следу, как собака по запаху.

Улица Маяковского оказалась тихой, засаженной тополями. Пух летел, забивался в решетку радиатора, лез в открытое окно. Он чихнул. Раз, другой. Аллергия. Смешно. Убийца с аллергией на тополиный пух.

Дом 14 стоял в глубине двора. Сталинка с облупившейся штукатуркой, высокие окна, тяжелая дверь. Во дворе на лавочке сидели старухи. Они посмотрели на машину, на него, отвернулись. Им было неинтересно. Чужая машина в их дворе — плевать. Может, это и есть свобода — быть неинтересным.

Он заглушил двигатель. Тишина. Только пух и далекий шум трамвая. Он открыл дверь, вышел. Ноги затекли. Он потянулся, хрустнул позвонками. Старухи снова посмотрели. Одна что-то сказала другой, та кивнула. Обсуждают. Ноль подошел к двери подъезда. Код. Он поднял руку, чтобы набрать наугад, но палец сам нажал четыре цифры: 2-7-1-9. Замок пиликнул, дверь открылась. Спасибо тебе, тело. Ты помнишь все, что нужно для того, чтобы продолжать этот кошмар.

В подъезде пахло кошками и сыростью. Лифта не было. Он поднялся на третий этаж пешком. Ступени, вытертые тысячами ног. Перила, покрашенные коричневой краской. Квартира 6. Дверь обита дерматином, под ним угадывался поролон — в некоторых местах бугры, в некоторых впадины. Звонок не работал, провода были оборваны. Он постучал. Сначала тихо, потом громче.

За дверью зашаркали. Долго, медленно. Загремела цепочка. Дверь приоткрылась на ширину ладони. В щели показался глаз. Выцветший, голубой, окруженный сеткой морщин.

— Кто? — голос был старческий, надтреснутый, но твердый. Не испуганный. — Я Ноль, — сказал он. Имя прозвучало глупо, но другого не было. — Ноль? — старуха помолчала. — А, это ты. Заходи. Я ждала раньше. Ты опоздал на две недели.

Цепочка звякнула, дверь открылась. На пороге стояла женщина. Лет семьдесят, может, больше. Сгорбленная, худая, в ситцевом халате. Седые волосы собраны в жидкий пучок. Она смотрела на него без страха, скорее с брезгливым любопытством, как смотрят на раздавленную лягушку.

— Ну, заходи, чего встал. Не на пороге же говорить.

Он вошел. Коридор был заставлен коробками, старыми журналами, каким-то хламом. Пахло старостью, лекарствами и вареной капустой. Она провела его на кухню. Маленькую, чистую, с вышитыми салфетками на телевизоре. Телевизор был старый, кинескопный, он тихо бубнил какой-то сериал.

— Садись. Чаю?

Он кивнул, хотя чаю не хотел. Она включила электрический чайник, достала две чашки с разными рисунками. Одна с розой, другая с Микки-Маусом. Ему досталась с Микки-Маусом. Станный выбор для убийцы.

— Ты не помнишь меня, — сказала она, ставя чайник на подставку. — Он говорил, что не будешь помнить. Сказал — сотрут все. Под корень. Я говорила ему — дурак ты, Володя. Ой. Не Володя. Теперь Ноль. Привыкать надо.

Она насыпала в заварник чай, залила кипятком. Руки у нее дрожали, но движения были уверенные.

— Володя, — повторил Ноль. Имя было чужим, как и все остальное. — Его звали Володя?

— Ну да. Владимир. Фамилию не спрашивал никогда, а он не говорил. Я его Еленой зову. А он меня — тетя Лена. Хотя какая я ему тетя? Так, квартирная хозяйка. Он у меня комнату снимал. Полгода. Потом уехал. Сказал, на операцию. Сказал, если придет человек и назовется Нолем — пустить, отдать вещи и не задавать вопросов. Я вопросов и не задаю. Мне девятый десяток, милоч, я за жизнь столько вопросов позадавала, что ответов уже не хочу. Устала.

Она поставила перед ним чашку. Чай был черный, крепкий. Он подул, сделал глоток. Горячо. Вкус знакомый, но без привязки к событию. Просто чай.

— Какие вещи? — спросил он.

— А я почему знаю. Коробку оставил. Сказал — отдай. Не открывай. Не смотрела я. Мне чужого не надо. Сейчас принесу.

Она вышла, шаркая тапками. Ноль остался один. Телевизор бубнил. На экране кто-то плакал, кто-то кричал, музыка нагнетала трагедию. Он взял пульт, выключил. Тишина. Только часы на стене тикают. Старые, с маятником. Маятник качается, отсчитывая секунды новой жизни. Или старой. Он запутался.

Он обвел взглядом кухню. Холодильник «Саратов», старый, дребезжащий. На дверце магнетики — кошки, собаки, пальма с моря. Открытки с Новым годом за прошлые годы. Он смотрел на них и пытался понять, что чувствует нормальный человек, глядя на такие вещи. Уют? Тоску? Ничего. Белая стена внутри.

Елена вернулась. В руках у нее была картонная коробка из-под обуви, перевязанная бечевкой. Она поставила ее на стол, рядом с чашкой.

— Вот. Все, что осталось от твоего от того. Не знаю, что там. Может, деньги. Может, фотографии. Может, пистолет. Я не проверяла. Мне семьдесят девять лет, у меня давление и большое сердце, мне чужой пистолет без надобности.

Ноль смотрел на коробку. Обычная коробка. Таких тысячи. Но эта была его. Или того, кого звали Володей. Он не хотел ее открывать. Он уже открыл одну коробку Пандоры сегодня. Флешка. Потом дверь в подвале. Третья коробка могла его добить.

— Спасибо, — сказал он. Голос прозвучал глухо. — Пожалуйста. Чаи гонять не будем, ты человек занятой, как я погляжу. Роба у тебя больничная. Пятно на робе. Не спрашиваю от чего — не мое дело. Ты вот что, Ноль. Он мне денег оставил за три месяца вперед, так что ты не думай, что я из корысти. Просто слово дала. Слово я держу. Единственное, что у человека есть в конце — слово.

Она говорила спокойно, без дрожи в голосе. Ноль смотрел на нее и впервые за это утро почувствовал что-то похожее на благодарность. Или это было не благодарность, а просто мышечный спазм в груди. Он не разбирался в чувствах. Он их не помнил.

— Можно мне воды? — спросил он.

Она налила из-под крана в стакан. Он выпил залпом. Вода была теплой, с привкусом железа.

— Ты это — она замялась. — Ты не ищи его. Того, прежнего. Его нет. Я не знаю, что он натворил, но вид у него был такой, будто он натворил много. И когда уезжал, сказал: «Тетя Лена, я умирать не хочу, но жить так больше не могу. Пусть вместо меня родится кто-то другой». Вот ты и родился. Живи.

Ноль поставил стакан. Смотрел на свои руки, лежащие на коробке. Руки убийцы. Руки спасителя. Руки никого.

— Легко сказать, — сказал он.

— А никто и не говорит, что легко. Жить вообще трудно. Я пятьдесят лет на заводе отработала, мужа схоронила, сына схоронила. Думаешь, мне легко? А я живу. Чай пью, сериалы смотрю. Потому что надо. Жизнь — она, милоч, не для счастья. Она для опыта. Какой у тебя опыт — такой и живи. Новый опыт получай.

Она говорила мудро, но эта мудрость была не из книг. Так говорят люди, которые много страдали и перестали бояться смерти, но не перестали бояться жизни. — Я пойду, — сказал Ноль. Он встал.

— Иди. Коробку не забудь.

Он взял коробку под мышку. Она была легкой. Почти ничего не весила. Как и его прошлое — пустота, упакованная в картон.

— Если придут из полиции, — сказала Елена вдруг, — я ничего не знаю. Снимал комнату человек, уехал, вещи не оставил. Я старуха, я ничего не помню. У меня склероз. Понял?

— Понял.

— Ну и ступай.

Она открыла ему дверь. Он вышел на лестничную площадку. Обернулся. Она стояла в дверях, худая, прямая, как спица. В ее глазах не было ни страха, ни осуждения. Просто усталое равнодушие ко всему, что не касается ее лично.

— Спасибо, Елена, — сказал Ноль.

— Не за что. Будь осторожен. У тебя глаза добрые. А у того были злые. Может, и правда получилось новое родить.

Дверь закрылась. Загремела цепочка. Ноль остался в полумраке подъезда с коробкой в руках.

Он спустился, сел в машину. Положил коробку на пассажирское сиденье. Закурил. В бардачке лежала пачка сигарет без названия, белая, с черной полосой. И зажигалка. Он не помнил, курит ли он, но руки сделали все сами. Щелчок, пламя, первая затяжка. Дым обжег горло. Он закашлялся, но продолжил. Никотин ударил в голову. В висках зашумело. Это было первое физическое удовольствие за день. Маленькая смерть клеток. Самоубийство в кредит.

Он сидел в машине, курил и смотрел на коробку. Что там? Он не хотел знать. Он хотел поехать куда-нибудь, где нет людей, вырыть яму, закопать эту коробку, закопать флешку, закопать нож, который остался в подвале. Закопать себя. Но он знал — не получится. Надо открыть. Надо посмотреть. Это как болезненное любопытство, которое заставляет ребенка ковырять болячку. Болит, но лезет.

Он затушил сигарету о пепельницу, полную старых окурков. Развязал бечевку. Поддел крышку.

Внутри лежали вещи.

Сложенные аккуратно, как в музее. Паспорт. Он открыл. Фотография. Лицо его, но волосы длиннее, взгляд тяжелый, исподлобья. Имя: Владимир Сергеевич Кравцов. Дата рождения: 14 марта 1978 года. Прописка: город Энск, улица Строителей, дом 5, квартира 18. Он прочитал, как чужую биографию. Ни одна цифра не отозвалась.

Под паспортом лежал нож. Не тот, из подвала. Другой. Складной, с деревянной рукоятью, инкрустированной перламутром. Красивая вещь. Орудие или сувенир? Он открыл лезвие. Острое, как бритва. На лезвии гравировка: «В. К.» — инициалы Владимира Кравцова. Он сложил нож, убрал в карман. Не как оружие. Как улику против самого себя.

Дальше — фотографии. Пачка. Штук двадцать. Он перебирал их, и руки холодели. Женщины. Разные. Молодые. Они улыбались в камеру. Кто-то на фоне моря, кто-то в парке, кто-то в кафе. Обычные снимки. Любительские. Но на обороте каждой — дата и имя. Аккуратным почерком. И крестик. Маленький черный крестик в углу. Двенадцать фотографий с крестиком. Он пересчитал. И еще одна, тринадцатая, без крестика. Та, что в подвале. Он смотрел на её лицо. Молодая, смеющаяся, в легком сарафане. Косички. Она выглядела как школьница, хотя, судя по дате на обороте, ей было двадцать два. За двадцать лет под землей она превратилась в то, что он видел сегодня ночью.

Он перевернул ее фотографию. На обороте не было крестика. Было написано: «Лена М. Ждет». И все. Он дал ей имя. Лена. Как и квартирная хозяйка. Случайность? Или его больной мозг во всем ищет связи, которых нет?

Ноль сложил фотографии обратно. На дне коробки лежала тетрадь. Общая, в клетку. Он открыл. Почерк тот же, что на фотографиях, что в записке с адресом. Дневник. Он прочитал первую строчку и захлопнул тетрадь. Не сейчас. Не здесь. Он чувствовал, что если начнет читать сейчас, то захлебнется в чужом безумии. Его новая личность была слишком хрупкой. Она была как лед на весенней луже. Ступишь посильнее — провалишься в черную воду.

Он завел машину. Поехал. Город мелькал за окнами. Витрины, светофоры, люди. Все чужие. Он искал выезд. Куда — неважно. Он заметил вывеску: «Мотель «Придорожный» — 5 км». Мотель. Это то, что нужно. Кровать, душ, тишина. Он хотел вымыть руки. Они не были грязными, но ему казалось, что кровь вьелась под кожу, что она там, на два слоя глубже, чем может достать вода.

Мотель оказался обшарпанным двухэтажным зданием с мигающей неоновой вывеской. Буква «П» не горела, поэтому вывеска читалась как «ридорожный». Он припарковался у входа. Заглушил мотор. Тишина давила на уши.

В фойе пахло хлоркой и жареной картошкой. За стойкой сидел парень в несвежей футболке, смотрел в телефон. Ноль подошел.

— Номер нужен.

— Сутки — тысяча двести. Двое суток — две тысячи. Паспорт.

Ноль положил паспорт на стойку. Парень глянул мельком, что-то записал в журнал, вернулся.

— Седьмой номер. Второй этаж, налево. Ключ на двери, внутри.

Ноль кивнул, взял ключ. Поднялся по скрипучей лестнице. Коридор был узкий, с ковровой дорожкой, протертой до дыр. Седьмой номер. Он открыл дверь. Внутри — кровать, тумбочка, телевизор на кронштейне. Окно выходило на стоянку. Занавески задернуты. Душ с туалетом совмещенные, кафель в трещинах, но чисто.

Он запер дверь на замок, накинул цепочку. Сел на кровать. Пружины жалобно скрипнули. Он достал тетрадь из коробки. Положил рядом нож, паспорт, телефон. Разложил перед собой жизнь Владимира Кравцова. Как патологоанатом перед вскрытием.

Он открыл тетрадь на первой странице. Почерк был мелкий, убористый. Буквы скакали, иногда строчки съезжали вниз. Похоже, писалось в состоянии возбуждения.

«Я не знаю, зачем это пишу. Может, чтобы когда-нибудь перечитать. Может, чтобы тот, кто найдет, понял. Хотя кто поймет? Никто. Даже я сам не понимаю. Это началось давно. Еще в детстве. Нет, не убийства. Убийства — потом. Сначала была пустота. Вот ты смотришь на мать, она тебя обнимает, а ты ничего не чувствуешь. Только холод. Как будто между тобой и миром стекло. Ты видишь, слышишь, но не прикасаешься по-настоящему. Врачи говорят — алекситимия. Неспособность распознавать чувства. Но я распознавал. Просто их не было. Вообще. Ноль эмоций. Ноль».

Ноль оторвался от чтения. Поднял глаза к потолку. Вентилятор под потолком не работал, лопасти замерли в мертвой точке. Ноль. Прозвище перешло от прежнего хозяина. Или прежний хозяин знал, что станет Нолем, когда писал эти строки? Нет, совпадение. Просто он всегда был пустым. Всегда был Нолем, только с именем Володя.

Он читал дальше.

«Первая была случайной. Я не планировал. Мы поссорились. Она кричала. Я ударил. Сильно. Она упала, ударилась головой об угол стола. Сначала испуг, паника. Я пытался привести ее в чувство. Но когда понял, что она мертва, — пришло спокойствие. Не радость. Не облегчение. Спокойствие. Как будто я сделал то, что должен был сделать с самого начала. Убрал шум. Она перестала кричать. Мир стал тихим. Я сидел и смотрел на нее два часа. Просто смотрел. Красивая. Как кукла».

Ноль закрыл тетрадь. Его тошнило. Не от текста — от того, что он читал это и не чувствовал отвращения. Он хотел его почувствовать. Он напрягал мозг, пытался вызвать спазм в горле, дрожь в руках. Ничего. Тело спокойно. Разум анализировал текст как литературное произведение. Стиль, ритм, пунктуация. Он поймал себя на мысли, что почерк у Кравцова неплохой. И тут же его накрыла волна стыда. Вторая эмоция за день. Стыд за отсутствие ужаса.

Он сунул тетрадь под подушку. Встал, подошел к окну. Отдернул занавеску. На стоянке было пусто. Только его седан и ржавый фургон без колес. Смеркалось. Он не заметил, как про-

шел день. Утро в больнице, подвал, Елена, мотель. Время скомкалось в тугий узел. Он зашел в ванную, включил воду. Ледяную. Встал под душ прямо в одежде. Пуховик намок, потяжелел. Больничная роба прилипла к телу. Вода стекала в слив, прозрачная, без крови. Пятно отмывалось плохо, но смывалось. Он стоял долго, пока не замерз до дрожи. Потом разделся, бросил мокрую одежду на пол, растерся жестким полотенцем. В зеркале над раковиной отражалось его тело. Поджарое, жилистое. Шрамы. Один длинный, через всю грудь. Другой — на бедре. У него не было прошлого, но шрамы были картой этого прошлого. Следы нападения? Драк? Случайных падений? Или это жертвы оставляли метки, защищаясь? Он не помнил. Тело помнило боль, но не могло рассказать.

Он достал из коробки чистую одежду. Старые джинсы, футболка, свитер. Все черное. Размер — его. Вещи пахли порошком и чем-то еще. Домом. Домом, которого у него не было. Он оделся. Карманы джинсов были пусты, только в заднем что-то зашуршало. Он вытащил сложенный вчетверо листок. Чек из супермаркета. «Хлеб ржаной — 1 шт. Молоко — 2 пак. Водка — 1 бут.». Обычный чек. Но дата — почти год назад. Последняя покупка Кравцова перед стиранием. Или перед тем, как он ушел к врачам. Хлеб, молоко, водка. Быт убийцы.

Ноль смял чек, бросил в корзину. Промахнулся. Бумажка упала на пол, он нагнулся, поднял, бросил снова. Попал.

Он лег на кровать. Включил телевизор. Пощелкал каналы. Новости, сериалы, ток-шоу. Везде люди что-то обсуждают, спорят, плачут. Эмоции плещут через край. Он смотрел на них как на инопланетян. Они чувствуют. Он нет. Почему? Потому что память стерта? Или потому что и до стирания ничего не чувствовал? Дневник говорит — не чувствовал. Пустота была всегда. Значит, стирание ничего не изменило в его способности к эмпатии. Просто раньше он притворялся, а теперь даже притворяться не умеет. Притворство — это тоже навык. Навык утерян вместе с памятью.

Он выключил телевизор. Лежал в темноте. За стеной кто-то кашлял. Внизу, в фойе, работал телевизор парня с ресепшена. Где-то далеко лаяла собака. Обычные звуки. Они не успокаивали и не раздражали. Просто были.

Он думал о тринадцатой. Ее звали Лена М. Что значит «М»? Фамилия? Отчество? Он не знал. Но она была там двадцать лет. Двадцать лет ждала смерти. Он дал ей смерть, и она была благодарна. Он не чувствовал вины. Он чувствовал пустоту, которая стала еще на размер больше.

Кто он теперь? Судья скажет — убийца. Священник скажет — грешник. Психолог скажет — пациент. А он сам? Он сам не знал никаких слов. Слова — это ярлыки, которые лепят на вещи, чтобы не бояться их. Но он боялся. Тихо, глубоко, на дне той самой пустоты, боялся, что на самом деле он не Ноль. Что он все еще Владимир Кравцов. Что стирание не сработало. Что душа — если она есть — осталась та же, только потеряла способность себя осознавать.

Он повернулся на бок. Под подушкой шуршала тетрадь. Он достал ее. Включил ночник. Света было мало, но достаточно, чтобы читать. Он открыл наугад.

«Пятая. Ольга. Блондинка, 28 лет. Работала в библиотеке. Любила Бродского. Мы говорили с ней о поэзии два часа перед тем, как я сделал это. Она читала мне «Не выходи из комнаты». Я слушал. Она читала с чувством, красиво. Я думал: вот человек, который чувствует. Для нее Бродский — это боль, любовь, эмиграция. Для меня — просто слова. Ритм. Набор звуков. Я не понимаю, как слова могут ранить или лечить. Они просто сотрясение воздуха. Я убил ее быстро. Она не мучилась. Она смотрела на меня с удивлением, а не со страхом. Как будто спрашивала: «Зачем? Мы же говорили о поэзии». А я не знал зачем. Просто момент был подходящий. Она замолчала навсегда. Я дочитал стихотворение сам, про себя. Без чувств. Просто текст».

Ноль отложил тетрадь. С него хватит. Он понял главное: Владимир Кравцов был не безумцем в классическом смысле. Он был функциональным психопатом. Абсолютно вменяе-

мым, но с отсутствующим эмпатическим центром. Он понимал правила игры, он мог их имитировать, но он не был включен в эмоциональную сеть человечества. Он был волком среди овец. И он убивал не из ненависти. Просто потому что мог. Потому что это приносило ему покой.

Ноль выключил свет. Закрыл глаза. Сон не шел. Он лежал и слушал тишину. Потом достал телефон. Открыл список контактов. Пусто. Набрал наугад номер — свой собственный, с бумажки в бардачке. Длинные гудки. Потом щелчок. «Абонент недоступен». Он положил телефон на тумбочку.

Тишина. Темнота. Где-то в груди медленно проворачивался холодный механизм, который раньше был сердцем. Он не знал, кто он. Он знал только, что завтра ему надо будет решить, что делать дальше. Сдаться полиции? Найти родственников жертв? Уехать в другой город и попытаться стать кем-то третьим? Вариантов было много, и все одинаково бессмысленные.

Потому что куда бы он ни поехал, он везде возьмет с собой себя. Свое тело. Свои руки. Свою тетрадь с дневником убийцы. И ту пустоту внутри, которая жрет все смыслы, как черная дыра жрет свет.

Он заснул под утро. Без снов. Без образов. Как отключили рубильник. Проснулся он в полдень от стука в дверь. Громкого, настойчивого. Он сел на кровати. Сердце билось ровно. Никакого страха. Странно. Нормальный человек испугался бы. Он просто встал, подошел к двери, глянул в глазок. Там стояли двое. Мужчина и женщина. В штатском. Но по лицам, по позам — полиция. Или кто-то хуже.

— Откройте, Владимир Сергеевич. Мы знаем, что вы там, — сказал мужчина.

Ноль смотрел в глазок. Владимир Сергеевич. Они пришли за ним. Они знают имя. Они знают, что он жив. Быстро. Слишком быстро.

Он открыл дверь. Цепочку не снял. Смотрел в щель. — Вы ошиблись. Я не Владимир Сергеевич.

— А кто же? — спросила женщина. Она была моложе, с острыми скулами и усталыми глазами.

— Ноль, — сказал он.

— Что ж, Ноль, — сказал мужчина, доставая удостоверение, — тогда тем более нам нужно поговорить. Открывайте. Не заставляйте нас ломать дверь. Мы из убойного отдела.

Ноль отстегнул цепочку. Дверь открылась. В коридоре стояли двое. И за их спинами, у лестницы, виднелся еще один. Все трое были напряжены, руки держали у пояса, где угадывались кобуры. Они боялись его. Это было заметно по побелевшим костяшкам пальцев. Они знали, кто он. Или кем был.

— Проходите, — сказал Ноль, отступая вглубь номера. Они вошли. Мужчина сразу прошел к окну, женщина осталась у двери, перекрывая выход. Третий стоял в коридоре, на подстраховке. Профессионалы. Ноль сел на кровать, положил руки на колени.

— Вы нашли подвал, — сказал он. Это был не вопрос.

— Нашли, — сказала женщина. — И много чего еще нашли. Как только мы подняли старое дело Кравцова, все зашевелилось. Вас не было год. Мы думали — сбежали, залегли на дно. А вы вон как. Стирание памяти. Модная штука, да?

Ноль молчал.

— Мы знаем, что вы прошли процедуру, — продолжил мужчина, не оборачиваясь от окна. — Суд это учтет. Но пока вы поедете с нами.

Ноль кивнул. Он знал, что этот момент настанет. Не так быстро, но настанет. — Можно мне одеться? — спросил он.

— Обувь наденьте, — разрешила женщина.

Ноль натянул ботинки. Старые, найденные в машине, разношенные чужой ногой. Он зашнуровал их, не торопясь. Руки не дрожали. Он заметил, что женщина пристально смотрит

на его пальцы. Ждет, что они потянутся к ножу? Нож лежал в кармане куртки, на стуле. Но он не собирался его доставать. Он вообще не знал, чего он собирается.

— Я не Кравцов, — сказал он, выпрямляясь. — Я не помню ничего из того, что он делал.

— Это решит суд, — отрезал мужчина, поворачиваясь. — А пока ваше имя — Владимир Сергеевич Кравцов. По паспорту. И паспорт этот лежит у вас на тумбочке.

Ноль посмотрел на паспорт. Да. Документ. Бумага, которая связывает тело с именем, имя — с прошлым. От бумаги не убежишь.

Он протянул руки. Женщина щелкнула наручниками. Холодный металл обхватил запястья. Она затянула туже, чем нужно. В глазах ее он увидел что-то, чего не видел у Елены, у парня на ресепшене. Ненависть. Личную. Она знала одну из жертв? Или просто ненавидела таких, как он, по определению. Ноль не спрашивал. Ему было все равно.

Его повели по коридору, вниз по лестнице. Парень на ресепшене смотрел круглыми от страха глазами. Машина стояла у входа. Обычная, без мигалок. Его посадили на заднее сиденье. Мужчина сел рядом, женщина — за руль. Третий остался в мотеле — проводить обыск, изымать вещи. Тетрадь, нож, фотографии. Все, что он не успел прочитать. Все, что ему предстояло услышать в суде.

Машина тронулась. За окном поплыл город. Тот самый, в котором он не успел прожить и суток. Серый, равнодушный. Тополиный пух летел, как снег. Ноль смотрел сквозь решетку на окне задней двери. Мир был с той стороны. А он с этой. И где-то глубоко внутри, под толщей льда, шевельнулось чувство. Не страх. Не вина. Облегчение. Облегчение от того, что больше не надо решать. За него решили.

Машина въехала в ворота с колючей проволокой. Следственный изолятор. Двери захлопнулись за спиной. Ноль перестал быть Нолем. Он стал номером. Стал делом. Стал телом, принадлежащим государству.

И только перед сном, на жестких нарах, он вдруг подумал о Лене М. Той, что в подвале. Она тоже была чьим-то номером. Только у нее не было нар, не было окна с решеткой. У нее был бетонный мешок и двадцать лет одиночества. И он, Ноль, подарил ей свободу. Самую последнюю.

С этой мыслью он уснул. Без сновидений. Белый шум вернулся и поглотил его целиком.

Клетка

Камера была маленькая.

Три шага от двери до окна, два шага от нар до стены. Окно под потолком, забранное решеткой и мутным стеклом, в которое было вплавлено что-то похожее на куриную проволоку. Свет проходил, но был он серым и безжизненным. На стене над нарами кто-то вышарапал гвоздем: «Здесь был Санек». И ниже, другим почерком: «И остался». Шутка старая, как сам изолятор.

Ноль сидел на нарах и смотрел в стену. Третьи сутки пошли. Или четвертые. Он сбился. Часы у него отобрали вместе с ремнем и шнурками. Время здесь текло не минутами — событиями. Завтрак — перловка и чай. Обед — баланда и хлеб. Ужин — снова перловка. Прогулки не было. Следственный изолятор — не колония. Здесь люди ждут. Ждут приговора, ждут этапа, ждут смерти.

Он тоже ждал. Только не знал чего.

Соседей по камере не было. Его держали отдельно. То ли боялись за других, то ли боялись за него — он не знал. В первый день приходил опер, смотрел в глазок, ничего не спрашивал. Просто смотрел. Ноль лежал на нарах лицом к стене. На второй день пришел конвоир с бумагой на подпись. Ноль расписался, не глядя. Фамилия в бумаге была «Кравцов». Он вывел подпись машинально, тело помнило росчерк. Потом он долго смотрел на этот автограф. Ровный, с завитушкой на конце. Подпись человека, который знал себе цену. Или думал, что знал.

На третьи сутки привели адвоката.

Это был мужчина лет пятидесяти, полный, с одышкой, но с живыми, цепкими глазами. Одет в мятый костюм, галстук сбит набок. Портфель старый, кожаный, с потертой ручкой. Он сел на табурет напротив нар, поставил портфель на колени, достал очки и папку с бумагами. Дверь за ним закрылась, лязгнул засов.

— Моя фамилия Рябинин, — сказал он, не представляясь по имени. — Я ваш адвокат. По назначению. Государство оплачивает. Если у вас есть деньги на частного — говорите сейчас, я откажусь от дела. Нет — будем работать.

— Денег нет, — сказал Ноль.

— У Кравцова были. Счета арестованы, но после приговора что-то можно будет разморозить, если понадобится на апелляцию. Но это потом. Сейчас давайте поговорим о том, что вы помните.

— Ничего.

Рябинин снял очки, протер их платком. Платок был несвежий. Он вздохнул.

— Я читал ваше дело. Точнее, дело Кравцова. Двенадцать эпизодов. Тринадцатый, последний, сейчас в работе — тело нашли в подвале той самой больницы, где, по вашим словам, вы очнулись. Отпечатки на ноже, который нашли рядом с телом, совпадают с вашими. Свидетели видели вашу машину у больницы. Есть записи с камер. В общем, с доказательной базой проблема. У обвинения она есть. У нас — нет.

Ноль слушал молча. Ему было скучно. Нет, не скучно. Это было что-то другое. Он не находил в происходящем смысла. Как будто все это происходило не с ним. Адвокат говорил о ком-то по имени Кравцов, у этого Кравцова были счета, машина, отпечатки. Ноль не чувствовал связи между собой и этими фактами.

— Вы меня слушаете? — Рябинин наклонился вперед. Табурет скрипнул под его весом.

— Да. Отпечатки. Машина. Камеры. Я понял.

— Хорошо. Теперь главное. Следствие рассматривает версию о неменяемости. Экспертиза будет назначена. Психиатры будут с вами говорить. Они захотят понять, действительно ли вы ничего не помните, или симулируете. Я должен знать правду. Симулируете?

— Нет.

— Совсем ничего? Детство? Родители? Школа?

— Ничего. Только то, что было после пробуждения.

Рябинин помолчал. Он барабанил пальцами по папке. Пальцы были толстые, с желтизной от табака. Он много курил, это было видно.

— Это называется диссоциативная амнезия. Полная. В медицинской практике встречается редко. Еще реже — после искусственного вмешательства. Клиника, где проводилась процедура, нелегальна. Ее уже нет. Врачей тоже. Сгорело все. В прямом смысле — пожар. Жертв нет, но и документов тоже. Вы понимаете, что это значит для суда?

— Нет доказательств, что процедура была.

— Именно. Нет медицинской карты. Нет показаний врачей. Нет лицензии. Только ваше слово. И запись на флешке, которую вы сами принесли следователю. Кстати, зачем вы ее отдали?

Ноль пожал плечами. Он сам не знал зачем. Когда его брали в мотеле, флешка лежала в кармане пуховика. На первом допросе он выложил ее на стол. Молча. Следователь удивился. Он мог бы ее уничтожить — там, в подвале, пока ехал в лифте. Мог бы сломать, выбросить, сжечь. Но он сохранил ее. Почему? Может быть, он хотел, чтобы кто-то еще увидел то лицо с экрана. Чтобы кто-то подтвердил: «Да, это не ты. Тот был другой». Или наоборот — чтобы кто-то сказал: «Ты и есть он». Он не знал. Он вообще мало что знал о своих мотивах.

— Флешка сейчас у них, — продолжил Рябинин. — Они проведут экспертизу. Но там голос, там лицо. Даже если это инсценировка, даже если это монтаж — присяжным будет все равно. Они увидят человека, который признается в двенадцати убийствах. А потом увидят вас. И ваше лицо будет тем же самым лицом.

— Я понимаю.

— Хорошо. Тогда перейдем к защите. У нас есть два пути. Первый: вы признаете вину как Кравцов, но настаиваете на невменяемости в момент совершения преступлений. Психиатры найдут у вас шизофрению или что-то подобное. Пожизненное в колонию для психов, а не в обычную. Там лекарства, тишина, библиотека. Не санаторий, но жить можно.

— А второй путь?

— Вы настаиваете, что вы — не Кравцов. Что личность Кравцова уничтожена. Юридически вы — новый субъект. Аналогов в российской практике нет. В мировой — единицы. Можно попробовать давить на прецедент. Но судья, скорее всего, откажет. Тогда — максимальный срок.

Ноль встал, подошел к стене. Провел пальцем по надписи про Санька.

— Я не Кравцов, — сказал он тихо. — Я не помню, как убивать тех женщин. Но тело помнит. Руки помнят. Я убил тринадцатую. Не Кравцов, а я. Своими руками. Если я не Кравцов — зачем я убил? Кто я тогда? Тот, кто убивает, не будучи убийцей. Это хуже. Кравцов хотя бы знал, зачем. А я просто так. Из жалости. Или из привычки. Я не знаю.

Рябинин молчал. Он вытащил из портфеля пачку сигарет, покрутил в руках. Курить в камере было нельзя, но он, кажется, думал не о курении. Он думал о том, что делать с этим странным подзащитным.

— Вы философ, — сказал он наконец. — Это плохо. Судьи не любят философов. Они любят факты. Факт: тело Владимира Кравцова нанесло смертельное ранение неизвестной женщине в подвале. Вы это не отрицаете.

— Не отрицаю.

— Тогда давайте так. На суде вы говорите только «да», «нет», «не помню». Никакой философии. Никаких рассуждений про душу, тело и привычку убивать. Это погубит вас быстрее, чем отпечатки на ноже. Поняли?

— Понял.

Рябинин встал. Табурет отъехал, скрипнув. Он собрал бумаги в папку, убрал очки в карман пиджака. Постоял, глядя на Ноля.

— Еще одно. В суде будет мать одной из жертв. Она давала показания год назад, когда дело только заводили. Тогда она сказала, что хочет вашей смерти. Сейчас она, по слухам, изменила мнение. Не знаю, в какую сторону. Будьте готовы. Потерпевшие имеют право голоса.

— Я готов.

— Не думаю. Но это не мое дело.

Он постучал в дверь. Засов лязгнул, дверь открылась. Конвоир пропустил адвоката, дверь снова закрылась. Ноль остался один.

Он лег на нары, закинул руки за голову. Потолок был серым, с трещиной, похожей на карту реки. Река без названия, как и он сам. О чем он думал? О матери жертвы. Она хотела его смерти. Теперь изменила мнение. Почему? Что может изменить мнение матери, у которой убили дочь? Только одно: понимание, что перед ней не убийца.

Или наоборот — желание увидеть его муки растянутыми на годы.

Он закрыл глаза. Попытался представить лицо женщины, которую убил Кравцов. Пятую. Ольгу. Библиотекаршу. Блондинку. Она любила Бродского. Он читал дневник и теперь знал про нее больше, чем про самого себя. Она была живой, а он — мертвым. И вот, мертвый убил живую. А теперь другой мертвый сидит в камере и ничего не чувствует.

На ужин принесли кашу. Он съел ее без вкуса. Запил теплой водой из кружки. Смотрел в стену. Стена молчала.

На следующий день пришли психиатры. Их было двое. Мужчина в возрасте, с седой бородкой и усталыми глазами, и женщина помоложе, с острым лицом и блокнотом в руках. Они представились, но он не запомнил имен. Они сели напротив. Конвоир остался за дверью.

— Расскажите о себе, — сказал мужчина.

— Меня зовут Ноль. Я не помню своего прошлого. Очнулся в больнице три дня назад. Или четыре. Я убил человека. Я не чувствую вины.

Психиатры переглянулись. Женщина что-то записала в блокнот.

— Почему вы называете себя Ноль?

— Потому что у меня нет имени. Точнее, есть, в паспорте. Но оно чужое. Я его не заслужил. Имя дает мать. У меня нет матери. Ноль — это отсутствие. Мне подходит. — Вы сказали, что убили человека. Вы помните, как это произошло?

— Да. Я нашел женщину в подвале. Она попросила ее убить. Я убил. Ножом. Один удар.

— Почему вы это сделали?

— Не знаю.

— Вы хотели ей помочь?

— Да. Или нет. Я не знаю.

— Вы злитесь сейчас?

— Нет.

— Что вы чувствуете?

— Ничего.

Женщина снова записала. Мужчина задал еще несколько вопросов — о сне, аппетите, голосах в голове. Голосов не было. Сон был без сновидений. Аппетит — нормальный. Он отвечал ровно, без эмоций. Психиатры снова переглянулись.

— Мы назначим дополнительные тесты, — сказал мужчина, вставая. — МРТ, энцефалограмму. Возможно, у вас органическое поражение мозга. Или последствия процедуры стирания. Мы должны понять, насколько вы вменяемы.

— Я вменяем, — сказал Ноль. — Я понимаю, что убил. Я понимаю, что это запрещено. Я просто не чувствую.

— Это мы и проверим.

Они ушли. Ноль снова остался один. Он подумал о том, что вменяемость — странная штука. Ты можешь понимать закон, но не чувствовать его. Ты можешь знать, что убивать нельзя, но не ощущать запрета внутри. Запрет — это не мысль. Запрет — это спазм в животе, холодный пот, дрожь в руках. У него этого не было. Никогда. Если верить дневнику, у Кравцова тоже.

На пятый день принесли передачу. Он не ждал ни от кого. Это была коробка из-под обуви — та самая, от Елены, которую изъяли в мотеле. Видимо, следователь разрешил отдать. Или адвокат постарался. В коробке лежала тетрадь. Только тетрадь. Нож и фотографии остались в деле как вещдоки. Ноль взял тетрадь, как берут ядовитую змею — с опаской, но с любопытством.

Он открыл ее на том месте, где остановился.

«Шестая. Ира. Тридцать один год. Разведена. Работала в банке. Очень боялась опоздать на работу. Даже когда я вез ее за город, она повторяла: «У меня завтра совещание в девять». Она не понимала, что завтра для нее не наступит. Я смотрел на нее в зеркало заднего вида и думал: почему люди так держатся за свои расписания? Они живут по часам, как будто часы дают им вечность. Часы — это обман. Вечности нет. Есть только момент. И право распорядиться этим моментом принадлежит тому, у кого хватает воли нажать на курок. Или на газ. Или на лезвие. Я дал ей свободу от часов. Она должна была быть благодарна».

Ноль перевернул страницу. Почерк становился более размашистым, буквы плясали.

«Восьмая. Имени не запомнил. Зачем? Она была случайной. Просто шла по улице. Я предложил подвезти. Она села. Она улыбалась. У нее были желтые зубы от сигарет. Мы курили вместе. Она говорила о погоде. О том, что весна холодная. Я слушал. Мне было интересно — о чем говорят люди, когда не знают, что умрут. Оказывается, о погоде. Вся их жизнь — разговор о погоде перед смертью. Я затаил ей рот скотчем, чтобы не кричала. Не потому, что боялся, что услышат. Просто не хотел портить тишину. Тишина — это главное, что я даю своим женщинам. Тишина и покой».

Ноль читал и чувствовал, как внутри что-то медленно переворачивается. Не эмоция — скорее физическое ощущение, как будто желудок сжался в комок. Он читал про женщин, которых убил он. Не он — Кравцов. Но тело то же. Тело читало про себя и узнавало. Не мозгом — чем-то другим. Может быть, клетки помнили. Может быть, в каждой клетке была записана эта хроника, и сейчас, при чтении, клетки вибрировали, как струны.

Он закрыл тетрадь. Походил по камере. Три шага туда, три обратно. Остановился у окна. За мутным стеклом угадывался клочок серого неба. Там, на воле, люди жили своей жизнью. Ели мороженое, читали газеты, ссорились, мирились, умирали своей смертью. А он сидел здесь, в каменном мешке, и пытался понять, кто он.

Адвокат был прав: суду не нужна философия. Суду нужно тело, которое можно посадить. Тело у них было. И тело это принадлежало ему. Даже если сознание новое, даже если память стерта, тело осталось тем же. Руки те же. Ноги те же. Сердце, которое гнало кровь, когда убивали пятую, шестую, восьмую. Он — соучастник. Соучастник по факту биологии.

На шестой день его вызвали на допрос.

Следователь был другой, не тот, что брал его в мотеле. Тот был из местных, этот — из области, важный, в хорошо сидящем кителе. Фамилия — Громов. Он сидел за столом, перебирал бумаги. Ноль сел на стул напротив. Наручники не сняли.

— Кравцов Владимир Сергеевич?

— Меня зовут Ноль.

— В протоколе вы будете Кравцов. Это ваша фамилия по паспорту. Паспорт выдан на ваше имя. Значит, вы — Кравцов.

— Паспорт — это бумага. Я не помню, чтобы мне его выдавали.

Громов поднял глаза от бумаг. Взгляд тяжелый, но не злой. Усталый взгляд человека, который видел много плохого и перестал делить мир на хороших и плохих.

— Я понимаю, что у вас амнезия. Или вы так говорите. Но есть факты. Факт первый: ваши отпечатки совпадают с отпечатками на орудиях убийств по всем двенадцати эпизодам. Факт второй: ваше ДНК найдено на телах. Факт третий: тело в подвале больницы, где вы проходили процедуру, убито ножом с вашими отпечатками. Вы признаете эти факты?

— Я не могу их оспаривать. Я не помню.

— Но вы убили женщину в подвале?

— Да.

— Зачем?

— Она просила.

— Вы врач? У вас была лицензия на эвтаназию?

— Нет.

— Тогда это умышленное убийство. Статья сто пятая. От восьми до двадцати лет, либо пожизненное. С учетом предыдущих эпизодов — пожизненное. Вы это понимаете?

— Понимаю. Громов откинулся на спинку стула. Он смотрел на Ноля долго, изучающе. Потом закурил — прямо в кабинете, хотя это было запрещено. Предложил сигарету Нолю. Тот кивнул. Громов поднес зажигалку, дал прикурить. Наручники звякнули, когда Ноль поднес сигарету к губам.

— Я работаю в органах тридцать лет, — сказал Громов, выпуская дым. — Я видел убийц, которые плачут на допросах. Видел тех, кто смеется. Видел тех, кто молчит годами. Но вы первый, кто говорит «я не помню» и при этом не врет.

— Я не вру.

— Я знаю. У меня нюх. Вы действительно не помните. Но это не делает вас невиновным. Понимаете?

— Понимаю.

— Хорошо. Тогда подпишите протокол.

Ноль подписал. Та же подпись, с завитушкой. Тело опять справилось само. Громов посмотрел на подпись, потом на Ноля.

— Идите. Завтра очная ставка. Мать одной из жертв согласилась с вами говорить. Она почему-то хочет вас видеть. Не знаю зачем. Может, плюнет в лицо. Может, простит. Это не мое дело. Мое дело — собрать улики. Я их собрал. Идите.

Ноль встал. Конвоир взял его за локоть.

— И еще, — сказал Громов, не поднимая головы от бумаг. — Если вы надеетесь, что вас признают новой личностью и отпустят, — не надейтесь. Система так не работает. Системе нужно, чтобы кто-то ответил. Вы — подходящий ответ. Смиритесь.

Ноль ничего не ответил. Его вывели в коридор. Длинный, серый, с лампами дневного света. Они шли долго, мимо дверей с номерами, мимо таких же конвоиров с такими же арестантами. Все молчали. В этом коридоре не разговаривали. Здесь разговаривать было не о чем.

В камере он снова взял тетрадь. Читать не хотелось, но он заставлял себя. Это было единственное, что связывало его с прошлым. Пусть страшное, пусть кровавое, но прошлое. У человека должно быть прошлое, даже если оно состоит из чужих смертей. Иначе он не человек. Иначе он Ноль. «Десятая. Марина. Девятнадцать лет. Студентка. Самая молодая. Она плакала и звала маму. Я сказал: мама не придет. Я теперь твоя мама. И твой отец. И твой бог. Она не поняла. Они никогда не понимают. Они думают, что смерть — это конец. А я думаю, что смерть — это продолжение. Просто в другой форме. Я даю им вечность. Разве это не милосердие?»

Ноль отшвырнул тетрадь в угол. Она ударилась о стену и упала на пол, раскрывшись на середине. Он тяжело дышал. Впервые за все время в груди что-то зашевелилось. Не вина.

Не раскаяние. Гнев. Гнев на того, кто писал эти строки. На Кравцова. На себя прежнего. Он ненавидел его. Это была первая настоящая эмоция, которую он смог опознать.

Он подошел, поднял тетрадь. Бережно, как поднимают раненую птицу. Разгладил смятые страницы. Положил под подушку. Он будет читать дальше. Он должен прочитать все. До последней страницы. Чтобы понять. Чтобы знать врага в лицо.

Ночь прошла без сна. Он лежал и слушал звуки изолятора. Где-то плакал арестант. Где-то смеялись конвоиры. Где-то гудела вентиляция. Он думал о завтрашней встрече. Мать одной из жертв. Какая? Которая? Двенадцать убитых женщин — это двенадцать матерей, двенадцать отцов, братья, сестры, дети, которые остались сиротами. Целая армия скорбящих. И одна из них решила посмотреть ему в глаза.

Зачем? Что она хочет увидеть? Чудовище? Или пустоту?

Утром его подняли рано. Дали умыться, побриться. Принесли чистую робу — не больницу, тюремную, серую. Он оделся. Позавтракал без аппетита. Ждал. В десять часов за ним пришли.

Комната для свиданий была маленькой, разделенной стеклом. С той стороны уже сидела женщина. Она была немолода, лет шестьдесят, может, больше. Седая, с глубокими морщинами у рта. Одета в темное, как на похороны. Глаза красные, но сухие. Она смотрела на него сквозь стекло, и в ее взгляде не было ненависти. Было что-то другое. Усталость. Бесконечная, вселенская усталость.

Ноль сел напротив. Взял трубку телефона. Она тоже взяла.

— Здравствуйте, — сказал он. Голос дрогнул. Почему? Он не хотел, чтобы он дрожал.

— Здравствуй, — ответила она. Голос низкий, прокуренный. — Меня зовут Валентина Петровна. Мою дочь звали Аня. Ей было двадцать пять. Она была художницей. Рисовала акварелью. Цветы, небо, море. Она любила желтый цвет. Говорила, что желтый — это цвет счастья.

Ноль молчал. Он не знал, что говорить.

— Ты не помнишь ее, — продолжила женщина. — Мне сказали. Стерли память. Я читала про это. Говорят, ты теперь другой человек.

— Я не знаю, кто я, — сказал Ноль.

— Я тоже не знаю, кто ты. Я год ждала встречи с убийцей моей дочери. Хотела посмотреть ему в глаза. Хотела спросить — за что? Хотела увидеть, как он мучается. А теперь мне говорят: тот человек умер. Его личность уничтожили. Сидит передо мной кто-то с его лицом, но с пустотой внутри. И я смотрю на тебя и не знаю, что чувствовать.

Она замолчала. В трубке было слышно ее дыхание — тяжелое, с хрипом. Она курила много лет, легкие были ни к черту.

— Я могу попросить у вас прощения, — сказал Ноль. — Но это будет ложью. Я не чувствую вины. Я хотел бы чувствовать, но не могу. Я пустой. Кравцов тоже был пустым. Он писал об этом в дневнике. Мы одинаковые. Только он убивал ради спокойствия, а я я еще не знаю, ради чего я убил. Может быть, я такой же.

— Зачем ты мне это говоришь?

— Чтобы вы знали правду. Прощение нельзя дать тому, кто не раскаивается. Я не раскаиваюсь. Мне нечем.

Женщина опустила глаза. Молчала долго. Потом подняла взгляд. В нем стояли слезы, но они не текли. Она держала их там, внутри, как держат воду в ладонях. — Знаешь, что сказал мне следователь? Он сказал: «Тот, кто убил вашу дочь, навсегда ушел. Этого можно судить только за новое убийство». Я не юрист. Я не знаю, правильно это или нет. Но я мать. Я хочу, чтобы кто-то ответил за смерть моей девочки. Если ответишь ты — пусть так. Если тебя посадят за ту, последнюю, — я буду считать, что справедливость есть. Хотя бы такая.

Она повесила трубку. Встала. Посмотрела на него через стекло еще раз. Долго. Потом повернулась и пошла к выходу. Сгорбленная спина, шаркающая походка. Дверь за ней закрылась.

Ноль сидел со стеклянной трубкой в руке. Из трубки доносились гудки. Он положил ее на рычаг. Конвоир тронул за плечо — пора в камеру.

Он шел по коридору и думал о том, что справедливость — такая же пустота, как и все остальное. Справедливость — это слово, которое придумали люди, чтобы оправдать свою жестокость. Или свою доброту. Он не знал. Он не понимал.

В камере его ждала тетрадь. Он сел на нары и открыл ее снова. Надо дочитать до конца. Там, на последних страницах, может быть, есть ответ. Или нет. Но больше искать было негде.

Сосед

Сокамерника привели на восьмой день. Ноль уже привык к одиночеству. Одиночество было его естественным состоянием — он не знал другого. Даже когда вокруг были люди, он был один. Стекло между ним и миром, о котором писал Кравцов в дневнике, никуда не делось после стирания. Может быть, оно было не симптомом психопатии, а просто свойством этого конкретного мозга. Мозга, который теперь принадлежал Нолю.

Парень был молодой. Лет двадцать пять, не больше. Худой, с впалыми щеками и бегающими глазами. Татуировки на пальцах — синие, тюремные, но неумелые, явно не на зоне битые, а по малолетке в подворотне. Он вошел в камеру, когда конвоир открыл дверь, и замер на пороге, как зверек, попавший в ловушку.

— Заходи, не стой, — буркнул конвоир. — Знакомьтесь. Кравцов, это Рыжий. Рыжий, это Кравцов. Если что — стучать в дверь.

Дверь захлопнулась. Рыжий остался стоять у входа, прижимая к груди тощий вещмешок. Он смотрел на Ноля с опаской. Видимо, ему уже рассказали, с кем посадят. Или он сам догадался — у Ноля было лицо, которое не располагало к легкому знакомству.

— Ты это... правда, что ли, тех баб? — спросил Рыжий, не двигаясь с места. Голос у него был сиплый, простуженный.

Ноль сидел на нарах, скрестив ноги. Тетрадь лежала рядом, прикрытая одеялом. Он не хотел, чтобы сосед ее видел.

— Правда, — сказал он.

— Всех двенадцать?

— Тринадцать. Одну уже здесь.

Рыжий присвистнул. Не то от страха, не то от восхищения — Ноль не разобрал. Парень прошел к свободным нарам, бросил вещмешок, сел. Нары скрипнули.

— А я по дури, — сказал он, глядя в пол. — Магазин взял. Ночью. Без оружия. Просто витрину камнем разбил и залез. Там сигнализация сработала, менты через три минуты приехали. Даже убежать не успел. Дурак.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.